

отношений внутри слова). Наиболее выгодные условия для подобного рода экспериментов и проверок открываются при лингвистических реконструкциях архаичных мифопоэтических текстов, когда синтагматика восстанавливаемого фрагмента текста в той или иной степени предопределяется и контролируется семантической структурой присутствующего в данном фрагменте слова и, следовательно, оказывается в связи с этимологией слова: в одних случаях текст — «родимое» место этимологии, в других, этимология — организатор текста, его «выпрямитель», диспьющий необходимость введения в текст данных смыслов и данных звуковых конфигураций.

Эти рассуждения подводят к идее **о т н о с и т е л ь н о с т и** этимологии в целом ряде аспектов (не учитываемой чаще всего в этимологии «среднего» диапазона): относительность, определяемая зависимостью от принадлежности к тому или иному слою словаря; от объема сравниваемого материала (ср. противоречие между «завершенными» этимологиями, с точки зрения данной языковой традиции не оставляющими никаких зазоров для более глубокого анализа и никаких сомнений в правильности среди исследователей, и статусом этих «завершенных» этимологий при расширении материала за счет родственных языковых традиций или макросемей языков, когда «завершенность» не только может ставиться под сомнение, но и категорически опровергаться; та же ситуация возникает иногда в связи с **о б ъ е м о м** используемого текста или с его **т и п о м**); от требуемой глубины реконструкции; от самого этимолога (в частности, от его места во временном ряду — всегда «выше» описываемого состояния). Здесь уместно обозначить лишь этот последний аспект. Суть процесса этимологического исследования может быть описана тавтологической фразой «этимолог этимологизирует этимологизируемое (подлежащее этимологии)». Но на должной глубине эта схема не может быть сведена к субъектно-объектной операции (человек → язык) по той причине, что субъект-этимолог выступает в этой роли лишь постольку, поскольку он владеет языком (или владеем им), т. е. объектом, и поскольку этот объект включен в субъектную структуру этимолога. Эта принадлежность к языку делает самого этимолога отчасти объектом, во всяком случае заставляет его «объективировать» языковое, овеществлять его. Но тем самым и объект (этимологизируемое) оказывается включенным в этимологизирование; он подталкивает субъекта-этимолога и через него как бы анализирует в себе субъективный слой (ср. у Новалиса: «Der Künstler gehört dem Werke, und nicht das Werk dem Künstler». — *Fragmente*). Помните об этой взаимозависимости этимолога и этимологизируемого, об игре рефлексивности необходимо, и приведенная выше фраза «Этимолог этимологизирует этимологизируемое» показательна именно своей сплошной тавтологичностью и по сути дела.

И последний из рассматриваемых здесь аспектов относительности этимологии связан с неполнотой картины этимологической истории слова, когда этимолог рассматривает ее «сверху» (из современности). В этом случае исследователь видит результаты и следствия, но не видит «черешков», т. е. тех семантических (в основном) квантов, кото-

рые характеризовали своим появлением введение новой составляющей и, следовательно, начало нового периода в этимологической истории слова. Правда, теоретически эта неполнота могла бы быть компенсирована находящейся с нею в дополнительном распределении неполнотой взгляда «снизу» (из прошлого), когда гипотетическому наблюдателю были бы видны именно «черешки», но оставалась бы неизвестной их судьба: иначе говоря, он фиксировал бы мутации, но не видел бы ни их результатов, ни как они вводятся в парадигму, в семантическую структуру. Разумеется, взгляд «снизу» недоступен этимологии (как, кстати, и биологии, где он мог бы сыграть исключительную роль при решении ряда вопросов эволюции). Однако языкознание накопило значительный материал по истории развития языка. Он дает некоторые основания не только для определения типов возможного развития данного фрагмента языковой системы, но и для осторожного моделирования тех «про-конструктивных» схем, которые могли бы быть увидены лингвистом, наблюдающим известные нам схемы «снизу».

«Относительность» этимологии, неуклонно возрастающая в предельных ситуациях, не должна квалифицироваться только как помеха, несовершенство, изъян. Она — из разряда тех необходимостей, которые возникают при максимальных жертвах, приносящих максимальный выигрыш. Ч у д о этимологии уходит своими корнями прежде всего в ту предельную область, где освобождаются высшие энергии и берут начало его наиболее глубокие смыслы. В этом плане оно также неотделимо от этимологической «относительности».

Г. А. Цыхун

К РЕКОНСТРУКЦИИ ПРАСЛАВЯНСКОЙ МЕТАФОРЫ

Новый этап в славянских этимологических исследованиях характеризуется расширением «прав» праславянского слова, что связано в первую очередь с привлечением типологических и ареальных критериев при реконструкции. Подобно слову в живых славянских языках за ним признается право на цельнооформленность. Постепенно утверждается его право иметь ареальную характеристику в пределах гипотетического праславянского языкового пространства. Наряду с этим все настойчивее проявляется стремление выявить у праславянского слова иерархически организованную систему значений в противоположность диффузной семантике, приписываемой ранее праславянским лексическим элементам при попытках охватить все возможные результаты семантических сдвигов в различных славянских языках. В этой связи значительный интерес представляет проблема переносного употребления ряда праславянских слов, на базе которого могло происходить формирование народных терминов, подобно тому, как это наблюдается в современных славянских языках. Речь идет, в частности, о непосредственном, не осложненном

дополнительными формальными преобразованиями переносе общеупотребительных слов из широкой, немаркированной, чаще всего бытовой сферы в другие, маркированные, узкотерминологические сферы, когда можно говорить о номинативной метафоре, поскольку понятие метафоры в наиболее общем виде включает значение переносности¹. При этом, как правило, в той или иной степени сохраняются семантические связи, поддерживаемые формальным тождеством народного термина и общеупотребительного слова.

Указанные метафорические образования в славянских языках привлекают внимание этимологов прежде всего как полигон для совершенствования методов семантической реконструкции, так как при этом в максимальной степени обеспечиваются условия чистоты лингвистического эксперимента, каковым несомненно является реконструкция. Попытки установить последовательность и направление семантических переносов на славянском материале дают весьма любопытные результаты, как это видно из работы М. Плишкур на примере анализа слова *baba*². Еще ранее интересные наблюдения над переносными значениями славянских названий зверей проведены К. Булат³. Однако в чисто этимологическом плане весь корпус славянских метафорических образований специально не исследовался, исключая некоторые наиболее загадочные номинативные метафоры, привлекавшие внимание исследователей парадоксальностью возможных семантических сдвигов⁴. Большинство из метафорических образований в этимологических словарях славянских языков, если они приводятся, включаются в соответствующие статьи без особых комментариев, объясняющих их происхождение и хронологию. Между тем нет сомнений, что подобно другим словам с так называемой прозрачной этимологией, корпус номинативных метафор в славянских языках может быть стратифицирован во временном плане, поскольку нет оснований отнести их появление исключительно к позднему периоду развития славянских языков. Разумеется, речь идет в этом случае об устоявшихся, лексикализованных в терминологических подсистемах метафорических образованиях, а не о метафоре как средстве внесения образности и экспрессии в живую речь, которая в значительной степени окказиональна и ситуационно обусловлена.

В связи с тем, что при рассмотрении подобного рода метафор отсутствуют формальные критерии для отнесения того или иного образования к праславянскому периоду (за исключением главного предварительного условия — праславянского характера исходного слова, хотя, по-видимому, нельзя исключать возможность его позднейшей замены в отдельных языках при сохранении первичного семантического признака, на основе которого возникла метафора), на передний план выступают другие критерии. Среди них можно назвать в первую очередь ареальные, типологические и культурно-исторические.

Ареальный критерий в сочетании с типологическими данными признается достаточно надежным для отнесения метафорического образования к праславянскому периоду, ср., например, заключение В. Меркуловой в связи с происхождением одного из славянских

названий болезни: «Время возникновения слова *žaba* 'болезнь', омонимичного к слову *žaba* 'земноводное', судя по его общеславянскому распространению и типичности семантических связей, можно отнести к праславянской эпохе»⁵. Однако в тех случаях, когда на славянской территории не обнаруживается сплошного ареала вторичной номинации, могут появиться серьезные сомнения в правомерности отнесения такого образования к праславянскому периоду, поскольку, как утверждает В. Мартынов, «возникновение вторичных значений при сохранении первичных может происходить независимо на краях этноязыковых территорий»⁶. Таким образом, «разорванность» ареала, служащая для обычных славянских слов наиболее надежным ареальным критерием их архаичности, в отношении вторичных номинаций трактуется как наименее надежный случай при установлении их праславянского характера. Подобным же образом может быть подвергнуто сомнению и типологический критерий, поскольку, как утверждает С. Семчицкий, «аналогичные метафоры, обусловленные психологическими закономерностями, возникают в различных языках, ср. параллелизм в образовании некоторых терминов элементарной географической лексики»⁷. Т. е., фактически речь идет о том, что вторичные метафорические образования в славянских языках существуют вне времени и пространства, с чем в принципе трудно согласиться.

Мысль о том, что в тех случаях, когда мы имеем дело с семантической, непримемимы обычные представления о распределении ареалов (ср. «нормы ареалов» у М. Бартоли), точнее, наблюдается противоположная тенденция в их распределении: одинаковые семантические инновации (в данном случае — вторичные метафорические образования) возникают на периферии, в то время как центральная зона лишена их, видится, по-видимому, на стремлении видеть в семантических сдвигах прежде всего чуждое влияние. В связи с этим находится представление и о сравнительно легком заимствовании метафор, о семантике, как чрезвычайно изменчивом компоненте слова, об отсутствии национальной специфики (или отражения «народной психологии») в семантике и т. п. Кажется, что здесь мы сталкиваемся с еще одним этимологическим мифом, подобно мифу об одинаковом отражении звуковых комплексов в различных языках. Противоречивость такого подхода хорошо видна на примере метафоры *rojast* 'радуга', о которой писал А. Непокупный⁸. Обнаружив такую метафору на белорусско-балтийском пограничье, а также у южных славян, А. Непокупный делает заключение о ее независимом возникновении в разных концах славянской территории, при этом севернорусская метафора трактуется как непосредственное заимствование из балтийских языков, а южнославянская рассматривается на фоне соответствующих греческих и румынских фактов. Основой метафоры считается обычай носить многоцветные пояса в Латвии, Литве и Болгарии. Однако логическую стройность указанного построения нарушает фиксация той же метафоры в такой бесспорно архаической зоне славянского мира как Полесье (причем, как в восточной, так и в западной его части), где трудно допустить

какое-либо заметное неславянское влияние. Таким образом, мы вынуждены поставить под сомнение инновационный и независимый для разных ареалов характер возникновения указанной славянской метафоры, тем более, что, как показал П. Толстой, семантическая связь 'пояс' — 'радуга' присутствует и в других славянских терминах, а сама эта связь ожидается на древних мифологических представлениях о поясе и радуге как символе силы и мощи⁹. При этом обнаруживается, что подобные, кажущиеся независимыми метафорические образования в других индоевропейских языках¹⁰, рассматриваемые в качестве «чистых» типологических параллелей, могут иметь общее происхождение, уходя своим корнями в весьма далекое прошлое.

Проведенное исследование номинативных метафор, соотносимых с названиями крупных животных¹¹, показало, что на базе одного имени в славянских языках может возникать значительное количество метафорических образований, идентичных с ним по форме. Например, при некотором обобщении сходных реалий существительное *koza* дает около 40 метафорических образований, не считая метафор в форме деминутивов и плюративов, существительное *volkъ* — около 50 и т. д. Однако все это многообразие номинативных метафор может быть описано при помощи сравнительно небольшого количества семантических признаков, лежащих в основе номинации, при этом некоторые мотивирующие признаки ('шора', 'больших размеров' и др.) повторяются в метафорических образованиях от названий различных животных в пределах данной тематической группы. Сравнение с другими тематическими группами показывает, что из всех выявленных семантических признаков, мотивирующих метафорические образования, общим для большинства рассмотренных групп является признак 'мифологический'. Он является и наиболее обобщенным, поскольку включает целый ряд более конкретных признаков типа 'обрядовый', 'апотропей' и т. п. Присутствие этого признака в различных группах номинативных метафор в славянских языках на фоне других семантических признаков, в большей или меньшей степени отражающих специфические особенности сходных реалий, послуживших основой вторичных номинаций, заставляет выдвинуть предположение о его особой роли в формировании славянской номинативной метафоры. Указанный признак мотивирует сравнительно небольшое количество из всех зафиксированных метафор. В упомянутой выше группе метафорических образований от названий крупных животных их процентное участие варьирует в пределах от 2 (*baranъ*) до 28 % (*medvedь*). Однако метафоры, мотивируемые этим признаком, занимают ключевое положение среди других метафор, образованных от названия определенного животного. Более того, в некоторых случаях возникает необходимость реконструировать метафору на основе указанного семантического признака в качестве недостающего звена, позволяющего этимологизировать другие, более конкретные метафоры в рамках указанной группы. Например, блр. *казі* 'загон, который занимает жпея'¹², укр. *козі* 'полоса, которую пропалывает полозница' (Грищенко

II, 264), болг. *козі* 'полоса на поле, которую знает один жнец' (Герров II, 382) и другие термины могут быть поняты только при наличии восстановленной на основе косвенных данных и фразеологизмов типа *остаться на козе*, *есть на козе* и т. п. метафоры **koza* 'мифический зооморфный дух, покровитель засеянного поля'. Создается впечатление, что одним из наиболее древних типов метафоры являются переписы названий из реальной, материальной сферы в сферу духовную, мифологическую. Устанавливается определенный, хотя, как нам кажется, неполный изоморфизм двух сфер употребления слова, когда, например, туровскому *баба* 'старая женщина, мать отца или матери' противостоит в другой сфере *баба (conliva)* 'существо в образе старой женщины, которым пугали малых детей': пойдешь у лес, то тебе там поцэлуе *conliva баба*¹³. Можно предположить, что и упоминавшейся выше метафоре *žaba* 'болезнь' при ее создании на основе *žaba* 'земноводное' предшествовала метафора типа *žaba* 'нечто похожее на жабу, вызывающее различные внутренние и внешние заболевания', ср., например., словац. *žaba* 'сказочная жаба, которая может скрыться в человеке' (Káral 319) и под. Однако при таком подходе возникает опасность в любой метафоре увидеть мифологическое начало, тем более, что сама природа метафоры, заключающаяся в определенном отрыве от первоначальной конкретной реальности¹⁴, предоставляет такую возможность. Определенную аналогию в этом плане представляют народные легенды и предания, возникшие в результате попыток осмыслить непонятные местные названия, этимологический анализ которых вскрывает конкретную, весьма «прозаическую» мотивацию. Так, для кашуб. *řilk* 'люмбаго, прострел' (Sychta VII, 155) в ряду других метафор, обозначающих болезнь, можно предположить промежуточную мифологическую метафору, тем более, что существующий материал дает для этого полные основания, ср.: «Когда волк влезает в человека, тогда нужно всех овец выпустить из хлева, тот волк из человека выскочит и на них бросится» (Там же). Однако народные наблюдения дают и другой материал — специфическое строение волчьей шеп, ср.: *У воўкі шыя не вёрнецца, вон цалком вёрнецца*¹⁵. Приведенный пример, как нам кажется, указывает на разумные пределы применения мифологического подхода при этимологизации славянских метафор, и в связи с этим отнесения их к праславянскому периоду. Попытки трактовать любую метафору, в том числе народные термины от *žaba*: регулятор глубины вспашки в плуге; врезной замок; крюк, на который надевается петля ворот; соединительная деталь в блоке; нечто вроде тормоза на колесе (когда телега спускается под гору); деталь ярма, цепа и т. п., как содержащие мотивирующий семантический признак 'мифологический' (ср.: «Так на уровне технических терминов реализуется архетипическая модель «хтоническое животное, произв. острое острым колющим орудием»¹⁶) снимают проблему временной стратификации славянских метафор. Представляется, что этимологическое решение, предложенное для технических терминов на базе метафоры *žaba* В. Меркуловой¹⁷, более приемлемо в свете задач, встающих при реконструкции праславянской метафоры.

- ¹ *Gołq̄b Z., Heinz A., Polański K.* Słownik terminologii językoznawczej. W-wa, 1968, 344.
- ² *Piškur M.* Pomenska analiza besede *baba*. — *Jezik in slovnstvo* X, 1, 1965, 6—15.
- ³ *Bulat K.* Beiträge zur slavischen Bedeutungslehre (slavische Tiernamen in übertragener Bedeutung). — *AfslPh* 37, 1920, 93—116; 460—491.
- ⁴ В последнее время на материале одной группы славянских метафорических образований подготовлена диссертация, ср.: *Старостенко Н. А.* Славянские пародийные термины, соотносимые с названиями животных. Автореф. дис. . . канд. филол. наук. Минск, 1984.
- ⁵ *Меркулова В. А.* Славянское **zab-*; праслав. **zarovъjъ* 'высокий, прямой'. — В кн.: *Этимология*. М., 1963, 73.
- ⁶ Лексика Палесся ў прасторы і часе. Мінск, 1971, 34.
- ⁷ *Семчинский С. В.* Билингвизм и заимствование метафор. — *НДВШ. Филол. науки*, 1975, № 4, 63.
- ⁸ *Непокупный А. П.* Балто-северославянские языковые связи. Киев, 1976, 64—66.
- ⁹ *Толстој Н. П.* Уз проблем словенских лексичких изоглоса. — *Научни састанак слависта у Вукове дане* 6, 1, 1977, 116.
- ¹⁰ Ср. некоторые данные о распределении названий радуги с мотивацией 'пояс, кушак; ремешь': *Atlas Linguarum Europae (ALE)*. Assen, 1983, I; 4, карты 7, 9.
- ¹¹ См. примечание 4.
- ¹² Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе награнічча. Мінск, 1980, 2, 359.
- ¹³ Тураўскі слоўнік. Мінск, 1982, 2, 30.
- ¹⁴ Ср.: *Pavelka Jiří.* Anatomie metalory. Brno, 1982, 130.
- ¹⁵ Тураўскі слоўнік. Мінск, 1982, 1, 113.
- ¹⁶ *Судник Т. М., Цивьян Т. В.* О мифологии лягушки (балто-балканские данные). — В кн.: *Балто-славянские исследования*. 1981. М., 1982, 147—148.
- ¹⁷ *Меркулова В. А.* Указ. соч., 74—78.

Ю. П. Чумакова

ЛЕКСИКА ДИАЛЕКТА КАК ИСТОЧНИК РЕКОНСТРУКЦИИ ПРАСЛАВЯНСКОГО СЛОВАРЯ

Утверждение в современной славистике реалистического тезиса о древней немонолитности праславянского языка и введение понятия праславянского лексического диалектизма выдвинуло на первое место среди источников реконструкции праславянского словаря диалектный материал. При этом лексикологической и лексикографической обработке подвергаются разрозненные факты множества различных славянских говоров. Но лексика конкретного говора или диалекта, входя в более широкие лексико-семантические системы (наречия, языка, родственных языков), как исторически сформировавшаяся реальность должна обладать определенной спецификой собственного «этимологического ландшафта», своеобразием соотношения генетических пластов, особенностями изолексных связей.

Специальное этимологическое и лингвогеографическое обследование архаического стратума словарного состава отдельных диалектов повышает информативность этого источника. Во-первых, в поле

зрения исследователя, как правило, попадают и еще не учтенные лексические и семантические архаизмы праславянского уровня. Во-вторых, в этом случае праславянские древности «извлекаются» из реальной лексико-семантической системы, где они включены в различные — семантические, структурные, корневые (часто с нарушенными связями) — объединения слов. В-третьих, обнаруженные в лексике диалекта праславянские регионализмы могут входить в характерные пучки изолекс, продолжающихся за пределами данной ограниченной территории в других славянских говорах. Учет подобных дополнительных характеристик, несомненно, служит уточнению значения и формы праславянского слова, способствует выяснению диалектных отношений и контактов архаического уровня.

В статье использованы материалы рязанских говоров, вошедшие в Деулинский словарь, а также собранные автором в Рязанском, Захаровском и Михайловском районах Рязанской области. В плане исторической ретроспективы эти южновеликорусские говоры локализируются в летописной земле вятичей, в центре бывшего Рязанского княжества, между старых древнерусских городов: Рязань, Пронск, Ижеславль (с. Ижеславль Михайловского р-на), Переяславль (современная Рязань). Для традиционной системы говоров указанной территории еще недавно были характерны глубоко архаические явления в области фоетики и грамматики¹. Не менее интересна в этом отношении и их лексика. Она хранит мощный пласт лексических архаизмов.

1. Многие лексические архаизмы рязанских говоров привлечены в ЭССЯ (1—10) и другой этимологической литературе² как праславянские образования. Специальные разыскания в этом направлении позволяют утверждать, что значительная часть праславянских архаизмов в диалектной рязанской лексике еще ждет своего выявления, что некоторые из них не зарегистрированы лексикографическими источниками.

Приведем лишь несколько новых примеров таких бытующих в рязанских говорах диалектизмов, которые с вероятностью можно возвести к праславянскому уровню.

Чули́да — 'неопрятный человек'. Ср. укр. диал. *чули́нда* — пейоратив в фольклорном тексте прошлого столетия: *За добрим чоловіком і чули́нда жінка* (Гринченко 4, 477); та же основа прослеживается в антропониме *Чулиндин* — г. Дмитров, 1623 г. (Веселовский. Ономастикон, 356).

Представляется возможным связать эти образования с продолжениями праслав. **čulъ*, **čuliti* в южнославянских языках и карпатских украинских говорах: болг. *чул* 'корноухий, безрогий, курносый', с.-хорв. диал. *чула*. словац. *čula* 'безухая овца', словен. *čula* 'чурбан, дуралей', макед. *чули*, с.-хорв. *čuliti* 'наострять уши', словац. *čul'ic se* 'гнутьяся', укр. карп. *чулий* 'безухий, с маленькими ушами', *чулити* 'повязать голову так, чтобы лоб был закрыт', *чулитися* 'прижать, наострять уши; съежиться; хмуриться' (ЭССЯ 4, 132)³.